



Владислав ВЛАДИМИРОВ

Возвращение к истокам

Правдивое слово о прекрасной жизни и вечных книгах
моего верного друга и побратима
Саина МУРАТБЕКОВА

1.

Сколько знал и знаю Саина — а знакомству и дружеству нашему уже более полувека — для меня он всегда был и остаётся эталонным писательской и людской красоты самой высокой пробы. Он всегда был (и таким уже навечно остаётся в памяти всех, кто его знал близко) устойчив, спокоен, смел и надёжен.

Вроде как на трёх китах: — правда, порядочность, мужество.

Самые великолепные и самые трудные человеческие качества.

О них наш брат журналист и писатель частенько и всласть порассуждать готов, но лично не интегрируясь с ними или же воссоединяясь только наполовину, а то и того меньше.

А Саин смолodu обладал ими сполна. Это было для него самое главное. Как по жизни, так и по творчеству.

Пожалуй, мало кто из писателей Казахстана, заявивших о себе в конце 50-х годов, увы, минувшего XX столетия, не значился так долго в **молодых**, как Саин. Сказывалось тут, конечно, и наше общее лукавое обольщение в определении творческих возрастов, и подкрепляемая им инерция творческого обихода: иному коллеге “постарше” и похвалить приятнее “молодого”, и поругать тоже легче.

Его первый сборник лирических новелл и рассказов под ласково-нежным названием “Моя сестрёнка” вышел в 1961 году.

Если кому подзабылось это бурное время, напомним слегка, что оно целиком и полностью принадлежало полуреволюционной поре (так называемой **оттепели**) Никиты Сергеевича Хрущёва, вчерашнего самого верного сталинца, неспроста объявившего себя самым верным ленинцем, ради личной безграничной партийно-державной власти скрутившего (его излюбленная формула) “в бараний рог” всех, кто встал поперёк дороги к ней, и даже тех, кто не встал.

Подлинным творцом **оттепели**, как не раз мне говорил незабвенный Димаш Ахмедович Кунаев, был его давний единоведец, беспеременный, при любой политической погоде, друг-академик Леонид Фёдорович Ильичёв, с которым и мне довелось быть знакомым отнюдь не шапочно.

Но Хрущёва мало смущали приёмы, с помощью которых он обворовывал на ладные и на бездарные реформы не только Ильичёва, а и Сталина, Троцкого, Вознесенского, Берия, Маленкова, Косыгина, Брежнева, Кунаева, приписывая всё успешное только себе, а неудачное сваливая на последствия так называемого **культы личности**, на коварные происки маоизма и мирового империализма, а также неудачную погоду.

Это было в год новой денежной реформы и героических прорывов Юрия Гагарина (12 апреля) и Германа Титова (6-7 августа) в Космос, в год XXII съезда КПСС, выноса Сталина из Мавзолея и единодушного принятия



новой Программы КПСС, лучезарно обещавшей коммунизм в СССР к 1980 году, но при известных условиях, коль даже тогда вдуматься, заведомо не выполнимых.

Но не только нам с Саином вдумываться было некогда — жили мы все тогда невероятно одержимые чудной идеей, безустальными трудами во имя достижения светлых целей, под мажорным маршем коммунистических бригад: “будет людям счастье, счастье на века у Советской власти сила велика” и праведным кличем: “пусть земля горит под ногами тунеядцев”, духоподъемной поэзией Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского, Олжаса Сулейменова...

Два года ещё оставалось Саину до заветного диплома, но уже тогда всё отделение журналистики Казахского государственного университета (тогда) имени Кирова увидело в нём значительного новеллиста.

Однако мнение его земляков из семиреченского села Конур Капальского района тогдашней Талды-Курганской области было ему ещё дороже и — намного ответственней. Ответственней потому, что односельчане, чуть ли не в один голос, потребовали от 25-летнего писателя немедленного продолжения его первой книги.

Несмотря на преддипломную горячку, он всей душой внял им.

В 1963 году мы оба получили свои дипломы из рук бессменного председателя Государственной экзаменационной комиссии, главного редактора старейшей семиреченской газеты “Огни Алатау” Вениамина Ивановича Ларина, признанного мэтра казахстанской журналистики.

А к следующему году Саин перенёс в название своей новой книги часть заголовка нашей газеты, куда меня Ларин сосватал сразу же на должность заведующего отделом культуры.

Книга у Саина так и называлась: “Огни аула” (1964).

Первыми литературное письмо Муратбекова заметили и добрым словом напутствовали видные казахские писатели Хамза Есенжанов и Абу Сарсенбаев. О самобытном творчестве Саина высоко отзывались Сабит Муканов, Абдижамил Нурпеисов, Вениамин Ларин...

Габит Мусрепов пронизательно предрёк:

“В цветущем и плодоносящем саду нашей многонациональной литературы молодому дереву чуткой прозы Муратбекову суждено уверенно расти и быть видным издалека”.

Василий Шукшин — и я тому свидетель — называл Муратбекова своим “родным казахским братом”.

Высоко отзывались о творчестве Саина главный редактор журнала “Дружба народов”, классик советской литературы Сергей Баруздин и его пожизненный верный сподвижник, тоже большой и верный друг Казахстана Леонид Теракопян.

Справедливости таких оценок в самой большой степени способствовал адекватный перевод прозы Саина с казахского языка на русский, мастерски осуществляемый известным московским прозаиком Георгием Садовниковым.

Учительствуя в сельских школах, работая в областных газетах, заведя отделом прозы в самом популярном казахском журнале “Жулдыз” (“Звезда”) (его тираж доходил до 200 тысяч экземпляров, не уступая знаменитому “Новому миру” Твардовского), старшим редактором киностудии “Казахфильм”, заведующим сектором художественной литературы ЦК Компартии Казахстана,



главным редактором республиканской писательской газеты "Казак адебиети" ("Казахская литература"), секретарём правления Союза писателей Казахстана, Саин никогда не забывал про своё главное призвание.

Год от года выходили у него книги рассказов и повестей — одна другой лучше: "Нива" (1967), "Дом молодых" (1968), "Дикая яблоня" (1972), "Ищу друга" (1973), "Камен-тугай" (1974), "У тёплого родника" (1980)...

И вот тогда вдруг как-то совершенно неожиданно обнаружилось, что перед нами уже **зрелый** автор. И, по-моему, этому в самой немалой степени способствовал выход в 1976 году не где-нибудь, а в библиотеке славного союзного журнала "Дружба народов", руководимого давними друзьями Казахстана и персонально Димаша Ахмедовича Кунаева Сергеем Алексеевичем Баруздиным и Леонидом Арамовичем Теракопяном (издательство "Известия") весьма почтенной по объёму книги Саина "Запах полыни", на его творческом счету — шутка ли сказать — тогда десятой. Среди новинок этой библиотеки сборник казахского писателя занял видное место, и о нём подробно заговорила (рад, что и я тут свою руку приложил) республиканская и союзная критика как о книге, ставшей своеобразной антологией его творчества за последние двадцать лет.

На своеобразии написанного Муратбековым, на его умении запоминать передавать не только внешние реалии жестокой военной поры или же современных ему и нам дней, но и сам дух не просто сельского и аульного, а **колхозного бытия** (иного у нас не было!), тонкие движения человеческой души, диалектику характера простого труженика, которого впоследствии разного рода ельцинисты и прочие перевёртыши оскорбительно поименуют **совком**, — на всём этом суровом творческом великоколении единодушно и раньше сходились многие читатели, кому каждая новая книга и даже каждый новый рассказ были самым желанным явлением.

Написанное Муратбековым убеждало в том, что он тонко понимает природу жанра новеллы и рассказа. Во многом он следовал темам Шукшина, Носова, Белова, Ларина и других писателей, превосходно знающих деревню, но у Муратбекова был **собственный** жизненный материал, чей ёмкий национальный колорит никак не схож в психологических проявлениях не только названных выше русских писателей, но и многих казахских литераторов, в творчестве которых **аульная** тема давно не была нова.

Один из самых объективных ценителей прозы Муратбекова Иван Крамов, говоря об излюбленных темах своего казахского собрата, недаром вспомнил слова Шукшина о целом поколении, которое волей социально-общественных обстоятельств оказалось на полпути между селом и городом: "Так у меня вышло к сорока годам, что я — ни городской до конца, ни деревенский уже. Ужасно неудобное положение. Это даже — не между двух стульев, а скорее так: одна нога на берегу, а другая в лодке. И не плыть нельзя, и плыть вроде как страшновато... Но и в этом положении есть свои плюсы... От сравнений, от всяческих "оттуда — сюда" и "отсюда — туда" невольно приходят мысли не только о "деревне" и "городе" — о России".

В многонациональной литературе Казахстана эту тему в художественной прозе по-своему убедительно и основательно осваивали Иван Петрович Шухов, Дмитрий Фёдорович Снегин, Ильяс Есенберлин, Иван Павлович Щеголикин, Герольд Карлович Бельгер, Магзом Сундетов, Бердибек Сокпакабаев, Александр Николаевич Сергеев (список можно было бы продолжить), в документальной — Вениамин Иванович Ларин, Тельман Жанузаков, Олег Васильевич



Мащевич, Юрий Владимирович Шапорев... Но всё дело в том, что Муратбекову удалось войти в довольно прилично разработанную тему собственной, неповторимой походкой, никому не подражая и никого не имитируя.

Разумеется, и названные выше авторы обладают собственной творческой походкой, которую трудно с кем-либо спутать, но главное отличие от них Муратбекова заключается, пожалуй, в том, что он умело использует малые плацдармы, казалось бы, самых незначительных, на первый взгляд, фактов для общих философских обобщений, позволяющих в конце концов судить по его рассказам о том принципиально новом социальном качестве нашей сельской и аульной жизни, которое было нещадно порушено после так называемой **перестройки**, предпринятой Горбачёвым при нашем всеобщем равнодушии и покорном попустительстве.

Едва ли состоялись **горбачёво-лигачёвские**, а затем **гайдаро-ельцинские** фокусы в масштабе нашей экс-державы, если бы мы все были бы такими, какими Муратбеков отобразил, взяв их от самой жизни, своих лучших героев — думающих, а главное — **действующих** людей, действующих по совести и справедливости, независимо от значительности их **поста** или **должности**.

Писатель и в мыслях не мог ратовать за те сомнительные моральные “ценности”, которые с придыханием долго отстаивали иные из литераторов, прописанных в прежнем литературно-критическом обиходе по графе **деревенщиков**, потому что он ясно представлял себе: современный ему и нам аул или село — это уже село принципиально новой формации, и печалиться о том, **что** в нём, казалось бы, неизбежно изживало себя, он не хотел — и правильно делал.

Однако это никоим образом не отменяло остроты и напряжения конфликтов отнюдь не локального свойства. О них писатель мог говорить (и говорил!) без излишнего дидактического пафоса, но с обнажённой откровенностью, очень совестливо и требовательно — и никакая цензура не могла ему помешать в том, ибо всё выполнялось не в виде примитивных диссидентских прописей, а на высочайшем художественном уровне, к которому ни у кого и никогда даже в самые худшие для нашей литературы времена **ждановщины** не возникало никаких претензий. Благодаря именно этому, Муратбеков, подобно Шолохову и Ауэзову, Шухову и Снегину, Нурпеисову и Есенберлину, Бельгеру и Щеголихину, всегда мог сказать в своей художественной прозе всё то, что хотел и — говорил в полную меру своего таланта.

И если, положим, тень оскорбительного недоверия падала на честно-го сторожа Умирбая (рассказ “В стороне”), то для автора это не было мелким частным случаем, а становилось поводом для самых серьёзных размышлений о социальной природе нравственной тупости и глухоты, коими в полной мере было “богато” ничтожество в лице бесфамильного “энергичного продавца”, вызвавшего комиссию расследовать раздутое им же самого “дело” о срыве пломбы с магазинной двери. Как тут не вспомнить “энергичных людей” Шукшина — подлых, безнравственных, общественно опасных, для которых нынешний дикий рынок на всём постсоветском пространстве стал настоящим эдемом-раем.

Зато насколько душевно привлекательны и красивы герои многих других рассказов и новелл Муратбекова — тут и честный, наивный даже на исходе Богом отпущенных ему лет чабан Кусен (“Кусен-Кусеке”), и ставшая бабушкой: “Говорят, самые счастливые люди на земле — матери. Если

это так, тогда самой счастливой среди них должна быть моя бабушка — этот пресветлый зачин рассказа “Бабушка” не отменяет его печального, трагического конца...

2.

Неповерхностное знание жизни, далеко не сторонняя школа её постижения, иными словами, личная причастность к её самым важным, “профессиональным” аспектам — был колхозником, сельским учителем, рабочим, студентом, журналистом, комсомольским и партийным работником и т. д. — позволяло Муратбекову нащупывать в отображаемой им современной ему и ретроспективной действительности те самые “нервные узлы”, которые в создаваемой им прозе не могут и сейчас оставить равнодушным, пожалуй, даже самых инертных читателей.

Но вот беда и напасть — изменилась вся природа чтения, ещё совсем недавно бывшего славным феноменом нашего прежнего — хорошего ли, плохого, но Бытия с большой буквы. С большой буквы, потому как даже при всех его видимых изъянах и пороках в нашем обществе преобладал не культ ушлого хитрованства, безбрежного насилия и подлой жестокости, а культ подлинной духовности и стремления к высоким идеалам.

Не думаю, что этот позитивный культ аннигилировал безвозвратно, по крайней мере, у нас в Казахстане, где здравые противовесы, не дающие агрессивной вестернизации разгуляться вовсю, намного сильнее, чем даже в братской России, не говоря уже о других “незалежных” республиках, которых эпидемия, точнее, пандемия этой чумы накрыла с головой.

И здесь всем нам всё лучшее, что есть в творческом наследии Саина, может стать эффективным подпорьем, коль скоро мы не дадим превратить его в данность сугубо архивного свойства. А для этого не надо многих капитальных затрат — достаточно того — и это самое главное, чтобы наши люди о Муратбекове не только в родном ему Семиречье, а и повсюду, прежде всего через школу и библиотеку, знали и помнили сызмальства.

Чтобы каждый вдумчивый его читатель видел, как в исполненных светлой поэтичности его рассказах “Моя сестрёнка”, “Горький запах полыни”, “Детская шалость” и многих других, где всем нам в нравственный урок воскрешены драматичные картины трудного военного детства, в повестях “Весна в Алмалы” и “Дикая яблоня”, правдиво запечатлевших непростую жизнь казахского колхоза, ощутил благотворность органического слияния в творчестве казахского прозаика великой школы русского и советского многонационального рассказа с мастерством основоположников казахской советской литературы Сакена Сейфуллина, Беимбета Майлина, Ильяса Джансугурова, Мухтара Ауэзова.

Дело в том, что почти каждый рассказ Муратбекова — это сказ о том, чего как раз и раньше, при так называемом развитии социализме, и сегодня в условиях кардинальной смены социально-политических вех не хватало и не хватает нашему обществу — глубоко психологический сказ о морально-нравственном возвышении человека, лишённый голоса прямого назидания и внешней эффектности.

“Книга, как судно, нуждается в полезном грузе. В обоих случаях трюм не должен быть пустым”, — замечал ныне основательно подзабытый, обладавший титулом народного писателя Эстонии (1965), лауреат Сталинской премии (1952), серьёзный поэт и новеллист, к тому же ещё путешественник и сатирик Юхан Смуул (1922—1971).



В 1982 году, когда в памятные Дни литературы и искусства Казахской ССР мы посетили родину Смуула — остров Сааремаа, этот чудесный край ветряных мельниц, нам раскрыли печальный секрет его преждевременной кончины.

Горестно поведав про это, гостеприимные и хлебосольные хозяева предложили развеять грусть и печаль напитками, которые в конце концов и сгубили классика эстонской литературы. Отказываться было бессмысленно.

Но тяжкий алкогольный морок всё-таки не затмил Смуулу зоркости видения — его меткие слова, приведённые выше, любил повторять Муратбеков, чьи многие новеллы, как у Смуула, обладают и второй, и третьей глубиной “расшифровки”, когда при явной или же кажущейся бесхитростности сюжета проступает многозначность авторского видения жизненных обстоятельств и явлений.

Что же касается общений Саина с истинно народными напитками, то в отличие от Смуула, они были всякий раз весьма умеренными — уж это я знаю, быть может, лучше кого-либо. Но знаю я и другое — он никогда не был и в этом аспекте ханжой и лицедеем.

Теперь уже, на склоне лет, можно (и, видимо, надо) потихонечку снимать все секреты — не только политические, а и сугубо личные и личностные. Не в назидание потомкам, а, так сказать, ради неусечённой правды и вящей истины.

А она, эта истина, далеко не всегда, но всё же и нередко — в хорошем вине.

Вот и однажды, в мою и Саина отпускную пору (дело было летом 1978 года) в санатории “Алатау” мы с ним умудрились проговорить за жизнь и за литературу, за всё прочее, местное и галактическое — теперь в это трудно поверить, но это было только так, а не иначе — 48 часов кряду.

Помню, как возмущался Саин тем, что нынешние молодые литераторы не хотят знать жизнь, отсиживаются по кабинетам или по своим квартирам, их не затацишь ни на село, ни в аул, ни на завод или фабрику, ни в армейский полк или ещё куда, зато они исправно обворовывают один другого на сюжеты — стоит кому-то поведать коллеге, о чём намерен писать, да приподдниться с исполнением намерения, как глядишь — оно уже отматериализовалось в виде уже быстро опубликованного коллегой в газете или журнале рассказа, а то и повести.

А потом, уже после второго, нет, третьего рассвета, не дожидаясь санаторского завтрака, двинули спозаранок к Олжасу Сулейменову — он обитал по соседству с женой Ритой в доме отдыха № 2 республиканского Совмина.

Пока шли не спеша, полной грудью дыша и во все глаза любясь восходом солнца, какой бывает только в горах и нигде больше, самим горным ландшафтом, а по ходу продолжая обсуждать теперь уже мировые проблематика, завтрак в доме отдыха № 2 уже завершился, и встретившему нас на пороге своего роскошного обиталища Олжасу было страшно неудобно, что угостить нас практически нечем, а идти на кухню и показываться там, где тщательно домывалась посуда от остальных номенклатурных едоков-отдыхальщиков, ему, как мы сразу поняли, тоже неловко.

“Ладно. На нет и суда нет, — с весёлой хитрецой улыбнулся Саин Олжасу и незаметно от него подмигнул мне почти заговорщицки. — Но в таком случае, Олжас Омарович, я всё-таки скажу Рите, чем ты совсем недавно занимался в своей творческой поездке по городам и весям нашей очень любимой Родины, а если говорить конкретно, то в...”.



И далее он назвал крупный город, а затем устно и в поясняющих пластических жестях развернул перед Поэтом план своего подробного будущего разговора с его женой о сокровенных тайнах, коими может обладать и безусловно обладает любой молодой и крепкий мужчина на этом свете.

Без вины виноватый Олжас сразу переменялся в лице, но к этой решительной мистификации отнёсся серьёзно, тут же быстро сорвался на кухню и через несколько минут уже мы всё втроем бодро вкушали среднего качества отечественный коньяк и остатки уже порядком подостывшего кухонного рагу.

Отлично помню, как отмечали 60-летие Саина в довольно просторном зале одной из алма-атинских диетических столовых на углу улицы Шевченко и проспекта Ленина (ныне проспект Достык-Дружбы). Юбиляр основательно закреплял каждый тост в его честь, но при всём том не терял ясности ума и устойчивости походки. Было уже далеко за полночь. Но гости расходились очень неохотно. К раннему утру за громадным, как аэродром, опустевшим столом, говоря словами известной песни, "нас оставалось только трое" — Саин, народный артист СССР Асанали Ашимов и я.

О чём говорили столь долго?

Да всё о том же — о жизни и за жизнь.

О любви и за любовь.

О счастье жить и любить, а ещё — читать и перечитывать юбиляра.

Ашимов, великолепно сыгравший в казахском кино роли мирового звучания, искренне сокрушался, что по прозе Муратбекова (по его сценарию) поставлен всего лишь один художественный фильм "Возвращение сына" (снят был в 1977 году), тогда как можно и надо было экранизировать многое из им написанного.

Великий актёр Ашимов был прав.

До сих пор слышу его приятный, чуть с хрипотцой, баритон и совершенно справедливые утверждения в пользу **живой** кинематографичности прозы Муратбекова, где нет или почти нет проходных, обезличенных и стёртых персонажей, а есть **живые люди**, интересные нам прежде всего своим морально-этическим здоровьем и своим истинным **коллективизмом**, который прежде звался **советским**, а ныне, уже лишившись своего названия, к громадному счастью для всех, в Казахстане всё-таки не канул в Лету, а остался — иначе бы нам никогда не вылезти из Беловежской ямы, а ведь не только вылезли, но и показали всем, как надо жить и что надо делать даже в самых непредсказуемых исторических, политических, экономических и прочих обстоятельствах.

Задолго до перестроечных передраг и последующих удивительных чудес Муратбеков сумел показать и доказать, что именно в советском коллективизме (да назовите его как угодно, он всё равно как реальная данность не исчезнет) заключены истоки непреходящего активного добра, которое отнюдь не стихийно, а вполне осознанно движет героями.

Проявления этого коллективизма у них различны и многомерны, как сам непростой мир муратбековских произведений, будь то новелла, рассказ, повесть, пьеса или киносценарий — в этих жанрах автор чувствовал себя уверенно не только в смысле творческих заявок. Но эти проявления зафиксированы им не плакатно и не лубочно (хотя плакат и лубок сами по себе — это тоже искусство), а в серьёзном реалистическом ключе, отвергающем пассивное авторское отношение к происходящему с его героями, знакомство с которыми облагораживает, властно заставляет задуматься над истинным смыслом жизни.



Вот почему — напомнили мы с Ашимовым нашему юбиляру — многое из написанного им по-настоящему стало духовно не только казахскому или русскоязычному читателю, но и зарубежному. Прежде всего читателям тех стран, что составляли бывшее социалистическое содружество, тоже бездарно, ни за грош или понюх табаку уступленное нами своим извечным оппонентам.

Его рассказы издавались, например, в сборниках “На земле космонавтов” в Германской Демократической Республике — я там их сам видел. И в антологии “Близкое — далёкое” — она мне в Чехословакии тоже встречалась, как в Венгрии сборник под названием “Призовой бегунец” с участием в нём (сборнике) не только Саина, но и Абиша Кекилбаева, Дулата Исабекова, Магзома Сундетова, Акима Тарази...

Приходилось признать, что зарубежные немцы (зарубежные потому, что своих, казахстанских, у нас было 1 миллион, который, как честно сказал “немецкий сын казахского народа” Герольд Карлович Бельгер, мы безвозвратно потеряли из-за массовой их миграции-эмиграции на так называемую историческую родину), так вот, зарубежные немцы, исконно свои венгры, чехи, словаки и другие восточноевропейские ценители казахской прозы подают (вернее, подавали) её своим читателям гораздо бережнее и красивей, чем это делалось у нас.

Но Бог даст, ещё наступят и для наших литераторов благословенные времена, когда издательские галушки, как по Гоголю в его “Ночи перед Рождеством”, у Пацюка, сами будут прыгать в рот.

Это было приятно слышать Саину.

А в общем-то к своей писательской известности он относился спокойно и с немалой долей самоиронии.

И вновь повторены были правильные слова Хемингуэя:

“Один человек не может ни черта!”.

И вот что опять прояснялось: у юбиляра при полном формальном соблюдении единичности главного персонажа — взять, например, колхозника Камена из рассказа “Камен-тугай” или чабана Кусена (рассказ “Кусен-Кусеке”) или старуху Уазипу из рассказа “В стороне” — неизбежно получится, что **личности** у него — все **действующие** в том или ином рассказе **лица**.

Постоянное возвращение к истокам активного добра и умение ненавязчиво опозитизировать его, не греша против истины, вовсе не означает того, что Муратбеков сентиментально идиличен и ему по душе розовая бесконфликтность, а плохих людей в свою литературу он не берёт совсем.

Как бы не так. Если бы в доперестроечное время выставить на суд строгой аульной общественности (поезжайте в аул или читайте роман Бельгера “Туюк су”, и вы увидите, что от неё сегодня, увы, остались рожки да ножки) то, что “сотворил” чабан Кусен, получив причитающийся ему немалый за работок (“...рассовал по карманам, за пазуху и за голенища сапог пачки денег”), то эта общественность безусловно не одобрила бы его поступка: надо всем статьям неважнецкий — ведь у него семья, и возраст не тот, когда можно позволить себе кутнуть во всю ширь своих желаний. И он к тому же способен прощать злые дела другим. Но вот парадокс — прочитаешь внимательно но рассказ и откроешь: а Кусен-то человек превосходный!

Его гостеприимство просто-напросто беспредельно и бескорыстно — тоже. И хотя он в отличие от писателя никогда не читал Сент-Экзюпери, наивысшее счастье он видит в живом человеческом общении, а единственное,

чего он желает — так это чтобы гости приезжали не все одновременно, ибо всё же тесновата для всех его старая юрта, а по очереди, так, чтобы никогда не переводились.

И в этой истинно славянской широте казахской души лично мне видится сам автор.

Нельзя сказать, что деньги у Кусена дармовые. Нет, и он и его жена трудятся денно и ночью, но ему денег не жаль ни для кого, и тут Кусен простодушно готов помочь даже проштрафившемуся, точнее, проворовавшемуся заведующему ларьком Бисултану, у которого ревизия обнаружила крупную недостачу, тем более что к этому его льстиво подбивает заведующий овцефермой — какое-никакое, а всё же начальство, неутомимости и доводам которого Кусен искренне удивляется:

— Все мы виноваты, Кусеке. Один брал в долг одно, другой — другое. Разве всех упоминишь? — сказал заведующий овцефермой.

— Конечно, конечно, — закивал Кусен, боясь, что люди подумают, будто он не доверяет Бисултану.

И кротко стоявший рядышком Бисултан тоже кивнул, мол, так оно и было”.

Писатель, колоритно передавая социальные эмоции былой казахской глубинки 50-х — 60-х годов XX столетия, уже тогда исчезавшей не только в аспекте географическом, но и в душевном, не делал своих героев старшего поколения сверхнаивными, этакими простодушными взрослыми детьми степей и гор. Честные и доверчивые, они хорошо понимали, что к чему в этом сложном, противоречивом мире, и кругозор их — примером тому образ Кусена — не был ограничен только лишь родным аулом. •

Но зло — в любой его испостаси — не вписывалось в круг их жизненного кодекса ещё и потому, что сами они являлись реальным воплощением активного добра не только в тогдашней аульной жизни, но и в той, что ей предшествовала, о которой они вспоминать не очень любят, потому что она была неизбежно связана с самым великим злом на белом свете — смертями дорогих друзей. Тот же Кусен — “воевал, освобождал многие города, осознал огромность земли. До сих пор перед его глазами стоит смерть товарищей, казахских и русских джигитов. А вот спроси его, бывшего пулёмчика, как заряжал пулёмёт, он не помнит”.

Это, конечно, авторская лукавость: “не помнит”.

Нет, в жизни Кусен помнит **всё**, и как пулёмёт заряжать тоже не забыл. Но самое главное для его памяти и для его каждодневных поступков — это умение дорожить миром, отвоёванным в боях, уважать неустанный труд, высокочтимый его согражданами, и быть готовым прийти к любому хорошему человеку с добром. И — представьте — даже прийти с этим добром не только к хорошему, но и к “номинально” плохому человеку, твёрдо полагаясь на силу добра, которая и “плохого” может сделать хорошим.

И тут автор оставляет читателя наедине с возникшими непростыми мыслями, которые замучили не одно поколение философов, историков, писателей, поэтов et cetera: в чём вековечный смысл жизни, да и есть ли он вообще, если добродетельность героя уподобляется попыткам отапливать саксаулом Космос? Ну вот помог Кусен изжулившемуся продавцу Бисултану сохранить свою голубую “Волгу” и не держать ответа перед народным судом за недостачу, а стал ли лучше от этого Бисултан? Или свояк-взяточник, владелец высокого пятикомнатного, с красивой железной крышей дома вдруг усовестился и начал жить с чистого листа, по-новому?



тексты британского классика Уильяма Теккерея, автора знаменитого, но мало кем читаемого романа "Ярмарка тщеславия" (1848).

Не выдам секрета, если скажу, что Саин, когда брался за новую вещь, решительно отказывался от чтения каких бы то ни было других авторов.

"Боюсь сбиться с собственной тропинки", — так это он всё объяснял — очень просто и понятно.

Но вот однажды Саин (я знал, что он опять основательно засел за рабочий стол, обратился ко мне с довольно необычной просьбой:

"Во всей Алма-Ате не могу раздобыть роман Маркеса "Сто лет одиночества". Все по нему с ума сходят. Помоги, если сможешь".

"Смогу, наверное, хотя и не очень уверен", — отвечаю я, но через несколько дней всё-таки передаю Саину с превеликими трудами добытую книжку Маркеса — в ней ещё оказалась и его (Маркеса) повесть "Полковнику никто не пишет".

Спрашиваю у Саина:

"Ты что, без этих штук написать свою никак не сможешь? Перевод, судя по всему, неважнецкий. Это тебе не Иван Кашкин — тот Хемингуэй сумел перевести, как говорится, один к одному".

"Да, Кашкин — гений перевода. Точно так и Маршак Бёрнса переведил. Мой Садовников их прямо-таки боготворит, — замечает Саин и темнит дальше. — Не знаешь, чему отдать предпочтение — оригиналу или переводу. Оба равноценны. У нас так в Казахстане переводит западных авторов только один Плашевский".

"А Бельгер?" — интересуюсь, будто бы впервые слышу.

"Бельгер тоже, — моментально парирует Саин. — Но у Бельгера его конёк — XIX век. Особенно Гёте. Созвучия: Абай — Лермонтов — Гёте".

Возражаю:

"Наоборот: Гёте — Лермонтов — Абай".

"Без разницы, — упорно не сдаётся Саин. — А Плашевский — это, сам знаешь, XX век. Лучший в СССР переводчик романа Ремарка "Ночь в Лиссабоне".

"Не "в Лиссабоне", а "в Лисабоне". Одно "с", — говорю Саину с лёгким торжеством.

"Но у Ремарка в переводе Плашевского на титуле любого издания — два "с", — опять возражает Саин, но теперь уже с небольшим удивлением. — Я русскому языку верю".

"И я тоже верю. Но ты на всякий случай всё же загляни хотя бы в Советский Энциклопедический Словарь", — советую тоже настойчиво.

"Давай заглянем сейчас. Зачем откладывать?" — предлагает Саин.

Находим в толстенном ЭС С 1979 года издания на странице 724-й чёрным по белому — "Лисабон — Lisboa".

Одно "с" — как в русском, так и в португальском вариантах.

Спустя неделю Саин вернул мне "русскоязычного" Маркеса:

"Наверное, ты прав. Туфта! Может быть, в оригинале всё это гениально, а пока вот, выходит, зря время твоё и своё растратил...".

"Вот видишь, — говорю. — А ты не верил. Как с "Лисабоном".

А Саин только и ждал этой фразы — "с Лисабоном". Тут же извлёк из кармана пиджака аккуратно изданный "Малый атлас мира" с закладкой на 81-й странице, показал, широко улыбаясь:

"Смотри, смотри, да повнимательней! Тут Лисабон не Лисабон, а Лиссабон! С двумя "сс"!.. Убедился? То-то! И это тебе не энциклопедический

справочник московских издателей, которые даже нашего Ивана Петровича Шухова проигнорировали. Шолохов у них есть, а Шухова — нет.. — он гневно передохнул и потряс красно-голубой книжкой с золотистым земшаром на плотной обложке: — Не СЭСу, а вот чему надо верить!.. Это, брат ты мой, издание Главного управления геодезии и картографии при Совете Министров СССР! Вот что это такое!..

Пришлось согласиться — отдать предпочтение “Малому атласу мира”.

А Иван Петрович Шухов всё-таки объявился в одном из последующих изданий СЭСа — после справедливого письма в редакцию “Советская Энциклопедия”, которое послал туда его сын Илья Иванович.

Однако недолго там, в СЭСе, пробыл Иван Петрович.

Буквально в следующем переиздании его вновь не оказалось.

М-да-а... Странно, очень странно всё это...

4.

Стремясь новаторски подходить к традициям своих литературных предшественников, он принципиально избегал благостной иконописи и надуманных счастливых концовок. Но в его произведениях нет и следа какой-либо фактографии и натуралистичности. Охват жизненных явлений у него, как правило, правдив и целостен, без эмоциональных перекосов, и неверный тон у него редок.

Ему были чужды экзальтация, взвихренное состояние чувств как по жизни, так и в самой манере письма. С беспощадным спокойствием — и тут, на мой взгляд, сказывалась переосмысленная применительно к плацдарму его прозы большая школа “Назиданий” Абая, романа “Опасная переправа” Ильеса Есенберлина, трилогии “Кровь и пот” Абдижамила Нурпеисова — писатель ополчался на пережитки того, что не могло украшать в любом случае национальный быт и характер.

Читаешь, перечитываешь Саина, и сызнава видишь, насколько ему чужды фигуры умолчания — он не пытается идеализировать прежнюю аульную жизнь, по которой подчас с тоской неизбывной рыдают иные наши литераторы.

Особенно трудна была эта жизнь в военные и послевоенные годы. Да и потом далеко не всегда за добром и благородством оставалась победа.

А сейчас?

Бросить все силы наши надо на то, чтобы президентская Программа возрождения казахского аула не осталась бы в ранге благих пожеланий. Ибо цепки щупальца моральных и экономических уродств, тянущиеся в сегодня из глухого прошлого и демагогического совсем недавнего.

И разве не об этом напоминает давний рассказ Саина “Стужа”?

Умирает в нём юный и честный Данеш, а его противник Кайрак остаётся жить. Но нет уже у читателя никакого сомнения в том, что до конца жизни Кайрака будут терзать мучительные мысли о неодолимой силе истинного душевного благородства, каким обладал Данеш, его самый давний неприятель.

“А начали вражду прадеды, — сообщает Муратбеков. — Что они не поделили в этом мире, неизвестно ни Кайраку, ни Данешу. Они знают только, что потом враждовали и их отцы. Когда началась война, отец Данеша уехал на фронт и погиб. Почти в то же время ушёл в город отец Кайрака, и с тех пор о нём не слышали ничего. Правда, сплетницы уверяли, будто он завёл в городе новую семью. Но им не верили.



Так канули в вечность отцы, оставив им в наследство свою вражду".

Ранняя смерть Данеша положила конец этому, казалось бы, вековечному противостоянию. Но не слишком ли велика жертва? — словно спрашивает автор трагическим финалом рассказа.

"Стужу" и другие новеллы читать можно всякий раз по-новому, открывая или вообще невидимое прежде, или же при первом чтении проступавшее неотчётливо.

Свойство классики?

Возможно.

Во всяком случае так бывает с рассказами Толстого, Чехова, Паустовского, Сергея Маркова, Шухова, Шолохова...

Это — факт.

И ещё. В прозе Муратбекова, густо населённой людьми (анималистических рассказов у него раз-два и обчёлся), напрасно искать строго документальные фигуры. Она беспрототипна в том лучшем смысле, когда степень литературной типизации достигает тех желанных высот, с которых не просматриваются анкетные данные конкретного персонажа. Да они абсолютно не нужны. Голая или слегка приодетая фактография для истинно художественной прозы отнюдь не благо, если она превалирует над психологией самого жизненного явления или факта, взятого писателем в качестве литературной первоосновы рассказа или новеллы.

Автор нередко вклинивается в повествование, которому он никогда не является сторонней (отстранённой) фигурой, но от подобного вмешательства его проза становится достовернее.

Лучшие из его новелл, рассказов, повестей являют собой вкупе своеобразную энциклопедию аульной жизни, не оторванной, а слитой воедино с большим миром неустанных борений и надежд, которыми жили люди второй половины XX века.

Всем лексическим строем написанного литератор стремился к простоте изложения, избегает сложные синтаксические конструкции. Ему присуща сдержанность в употреблении метафор. Именно об этом не раз говорил Чехов как о первом условии настоящей выразительности художественной речи. "Восточная цветистость" совсем не в его (Саина) вкусе. Иногда он излишне надеялся на самые обиходные выражения, но почти всегда старался придать им неожиданно-обновлённый характер, полоним, такой, какой они получают в его "анималистических" сравнениях.

"В тот предосенний день он с утра возил сено на зимние стойбища и вернулся только к середине ночи, уставший и злой, как собака" (рассказ "Дом молодых").

Или: "А отец осторожничал даже за столом, выбирая мясо помягче, без костей, хотя его крепким желтоватым зубам мог бы позавидовать даже молодой волк" (повесть "Весна в Алмалы").

И сегодня мы видим даже резче и яснее, чем вчера или позавчера, как герои Муратбекова и в юном, и в преклонном возрасте не утомлены и не пресыщены жизнью. Они не аскеты, но решительно во имя чистоты и справедливости человеческих взаимоотношений отвергают культ материального благополучия. С неотвратимо наплывающими годами их не гнетёт страх перед завтрашним днём — и это было одной из самых убедительных примет советского образа жизни. Тут уж, как говорится, из песни слов не выбросишь, а если выбросишь, то это будет другая песня. И в свои

преклонные лета они не теряют способности искренне радоваться напору быстро менявшейся действительности, причём менявшейся далеко не в худшую сторону: "Ого, сколько тракторов везут в эти края! — удивилась Уазипа. — И как только земля не прогибается под такой тяжестью!". Ей вспомнились слова "целина", "миллиард пудов"... Так вот почему сюда везут столько тракторов! Целина, наверное, где-то здесь, недалеко" (рассказ "В стороне").

Разумеется, не всё в муратбековских рассказах, новеллах и повестях художественно равноценно.

Мне казалось (и я об этом писал в своих литературно-критических статьях о Саине, в послесловиях и предисловиях к его книгам), что ему явно не удавались попытки передать глубину психологии чувств, так сказать, на метеорологическом фоне. В качестве примеров приводил весьма схематичные рассказы "Ночной дождь", "Дыхание весны", "Первый снег". Первый — о неразделённой любви. Второй — о любви несбережённой. Третий — о любви пока ещё не состоявшейся. Вариации далеко не новые, да к тому же и уровень их "исполнения" не поднимался выше заурядной мелодрамы.

Подчас в прозе Муратбекова удручали длинноты, кружения на месте, явный излишек бытовой детализации.

Саин всегда очень внимательно относился ко всем замечаниям литературной критики, если считал их справедливыми. А ею обделён он не был. Но игнорировал их начисто, когда видел, что единственной целью того или иного местечкового "Белинского" или "Писарева" было как можно заметнее обозначиться и вдосталь покрасоваться на публике за его счёт.

5.

Жизнь полной чашей одарила героев произведений Муратбекова радостями и печалью, успехами и неудачами, счастливыми утверждениями и горестными разочарованиями. Удивительная своей простотой и правдой страна его прозы, "вторая реальность" не стала виртуальным понятием, а продолжает жить в его книгах своей теперь уже вечной жизнью. Есть в ней, отнюдь не гладенькой и карамельной, далёкой от безмятежного пейзажа, свои непримиримые полярности и сложные полутона.

Не всегда в ней кажущееся совпадает с сущностью. Нередко зримо оживает злая сила давних предрассудков, больно бьющая по всему живому и думающему. Часто пустой, никчёмный человек сходит за умного, а долгожданное счастье обходит людей, его достойных, и крепости духа не хватает как раз там, где она должна была бы проявиться в полной мере, да вот так и не проявилась.

Но при всём этом проза Муратбекова освещена социальным оптимизмом, активным неприятием того, что чуждо элементарно всему **человеческому** и **человечному**. На этой прозе лежит яркий отблеск зрелого художественного дарования, призванного смело и правдиво утверждать как в жизни, так и в литературе самые дорогие, непреходящие духовные ценности, осуждающие индивидуализм и лицемерие во всех их проявлениях.

Шукшински незатейливы сюжетные коллизии рассказов и повестей Саина, трепетны нежные лирические краски в них.

"Новелла — не что иное, как случившееся неслыханное происшествие", — это утверждение Гёте в его беседах с Эккерманом Муратбеков не признаёт за истину в конечной инстанции. Ему намного ближе чеховское понимание природы новеллы и рассказа вне абсолютизации "неслыханного".



“Зачем писать, что кто-то сел на подводную лодку и поехал к Северному полюсу искать какого-то примирения с людьми, а в это время его возлюбленная с драматическим воплем бросается с колокольни? Всё это неправда, и в действительности этого не бывает. Надо писать о том, как Пётр Семёнович женился на Марии Ивановне”, — утверждал Чехов.

Всё так. Но классик, к счастью для него, не узнал многого из того, что привнёс с собой человечеству XX век.

Саин же Муратбеков вместе со всем своим (нашим) поколением оказался с рождения в эпицентре самых жестоких метаморфоз, убийственных агрессивной вседозволенностью. Его “малая родина” — Казахское Семиречье — не стала тут исключением. Удивительно выразительной чередой проходят в его прозе невыдуманные персонажи. Здесь и звероподобный баскарма — председатель колхоза Туржан, “готовый закатать любого колхозника в Сибирь” (повесть “Дикая яблоня”). И совершенно безропотный недавний заключённый, бывший продавец сельского магазина Тураш (рассказ “На перевале”). И юный романтик и выдумщик, хроменький сирота Аян, над которым творит расправу людская бессердечность (повесть “Грьющий запах полыни”).

Но вот парадокс, точнее, знамение. Сколько бы ни издевалась жизнь над человеком, как бы она его ни уродовала и ни кидала в болота подлости и делячества, он даже в самых тушкыковых обстоятельствах способен оставаться несломленным, готовым наперекор всем невзгодам отстоять для себя и других справедливость. Многие, да, многие герои разножанровых произведений Саина не только сохраняют душу, но и делятся её неизбывным теплом с теми, кто оказался обездоленным более других.

Трудно живётся в суровую пору военного лихолетья казахскому парнишке Канату. Но ещё труднее его сверстникам — чеченцу Бакке и немцу Отго. И Канат всем, чем может, помогает друзьям-сверстникам, как, впрочем, то же самое делают и взрослые взрослым. Опять же, исходя не только из предписаний властей, но в первую очередь из добрых законов и традиций, унаследованных от славных предков (“Дикая яблоня”).

Нет, не вымерял Муратбеков ни на весах, ни по линейке: чья судьба горше или медовее. У немца или чеченца, казаха или русского, армянина или турка... Ясная и мудрая в своей простоте проза казахского литератора от национальных корней возвышается до общечеловеческих чувств. И, как всякая неподдельная мудрость, она “не нуждается в напряжении голосовых связок” (Фазиль Искандер).

Кто не хлебнул сполна лиха из полной чаши Отца народов? Нет такого этноса. Но с начала и до середины 40-х годов велась война не с Чечнёй, а с нацистской Германией и её сателлитами. На плечи и сердца тогда советских немцев, депортированных в Казахстан и Сибирь злой волей обстоятельств и Вожда, легла свинцовой тяжести тень “кровного” отождествления с врагом. Но даже это трагическое испытание не сломило духа наших немецких побратимов, а бескорыстная помощь и поддержка других народов — в Казахстане, прежде всего казахского! — возвращала им нравственные силы, человеческое достоинство, истовую надежду на завтрашний день. Редкостной духоводъёмности картины являют читателям психологически ёмкие “немецкие” фрагменты муратбековской прозы. Как, впрочем, и любые другие.

И не зря живёт на целинной земле старый чабан и хлебороб Бекен, умеющий примирять напор новой жизни с патриархальной стариной



(“Причуды старого Бекена”). И если проклятая война отобрала у красавицы Камар-женгей любимого мужа, то собственное горе сделало её чуткой к любым из чужих бед (“У тёплого родника”). Примечательно, что даже самому конченому персонажу — вроде отпетого подонка и похотливого жуира Ырысбека из “Дикой яблони” автор оставляет возможность вернуть уважение земляков. Вера в нетленность извечных моральных ценностей, по Муратбекову, спасительна.

Не раз и не два сходились по этой жизни наши с Саином дороги. Да и на высоких номенклатурных ярусах он никогда не изменял себе, не чиновничал, а старался быть максимально полезным родной республике и её литературе. Для многих номенклатурщиков Саин был человеком с другой планеты.

Но всегда подтверждалась правота истины услышанного нами в одной из лекций от Мухтара Омархановича Ауэзова. Не поучая, он процитировал Ибсена: “Чтобы иметь основания для творчества, нужно, чтобы сама жизнь ваша была содержательна”.

Что ж, теперь-то содержательности не занимать. Любого колера и знака. За плечами не одни безоблачные дни. Но прав был наш общий старший друг и наставник Сергей Николаевич Марков, открывший просвещённому миру Чокана Валиханова и Олжаса Сулейменова: без настоящих испытаний “на прочность, разрыв и растяжку” настоящего литератора не бывает.

Саина всегда выручал его золотой запас личной человеческой порядочности и писательской прочности, здорового честолюбия, повышенной самокритичности и самого искреннего дружелюбия.

Муратбеков никогда не стоял в стороне от острых и насущных проблем современности. В значительном, да что там значительном, в небывалом успехе проведённой по инициативе Кунаева в Алма-Ате Пятой Международной конференции писателей стран Азии и Африки (1973) — известная доля усилий Саина. В антиядерном движении “Невада — Семипалатинск” — тоже. Когда возникла партия “Народный Конгресс”, он стал главным редактором её печатного органа.

И так всегда и везде.

Но — с собственным мировидением и пониманием хода и сути вещей. “Пока человек с трибуны говорит одно, в кругу друзей другое, а думает третье, до тех пор он не может считать, что его образ жизни — правильный”, — вот слова, в которых заключена жизненная позиция самого Саина, которому интересен был буквально каждый честный человек.

И у него этот интерес был непреходящ. А будь иначе, стал бы Саин одним из множества старательных бытописателей, которым на поверку все людские судьбы — до лампочки. Саин же и по жизни, и в творчестве избегал клишированных ситуаций — оттого читать его и говорить с ним всегда было интересно, ибо с лучшими героями его прозы его же роднил дар в любых обстоятельствах оставаться самим собой. О Саине подавляющее большинство коллег всегда отзывалось с уважением, ибо все мы воочию видели, как ему органически были чужды самодовольство и та профессиональная гордыня, которая метит нередко (верно, всякий раз по-разному) иных из маститых литераторов, чаще всего живущих прошлыми заслугами.

По всем формальным и неформальным признакам Муратбеков никогда не был в творчестве середнячком. Себя он чувствовал всегда уверенно



(однако же не самоуверенно), полным здоровых душевных сил, большой и активной участливости ко всему, из чего в конце концов складывается жизнь и её главный смысл — **быть человеком, который нужен всем.**

6.

Он никогда не был похож на тех писателей, у которых в биографии всё чётко делится на две равные или неравные части, одна из коих представляет собою годы, так сказать, накопления опыта, работы в той или иной сфере общественного производства — избранной им добровольно или навязанной волею обстоятельств, а другая уже состоит из обособленных от первой “творческих” лет, когда их лейтмотивом выступает неодолимое желание рассказывать просвещённому миру о прожитом и пережитом.

Муратбеков не таков.

Опять говорю о нём в настоящем времени и констатирую: он не примет писательского профессионализма в его спокойной кабинетно-дачной ипостаси или в суетливой форме так называемых творческих командировок по различным “линиям” — сегодня, скажем, к пограничникам, а завтра — к чабанам и дояркам.

Он признаёт только активное включение в жизнь, постоянное и насыщенное всевозможными заботами и волнениями. И словно сегодня вижу я его — тесно связанного с деятельным бытием, прежде всего с работой в редактируемой им республиканской писательской газете; с напряжёнными буднями родного ему Семиречья, всей республики и нашей тогда общей державы; с заботами родного ему хозяйства — колхоза имени Ильича Капальского района Талды-Курганской области, хотя уже и области такой давно нет, и колхоза в ней тоже.

Но именно там жили и трудились его отец с матерью, братья и сёстры — в семье было семеро детей.

“Если бы не писательство, — признался мне однажды Саин, глубоко вздохнув при этом, — честное слово, попросился бы в родной колхоз, может быть, оказали бы мне честь мои земляки, избрали бы председателем, и мы тогда вместе всем колхозом построили бы коммунизм. Ну не столь быстро, как я говорю, а работать бы стали ничуть не хуже, чем у Алдабергенова, Чамчияна, Геринга, Лозового и Головацкого!”.

Он называл имена самых лучших представителей казахстанского ДиПкорпуса — понятное дело, вовсе не дипломатического, а директорского и председательского корпуса: в их образцовых хозяйствах и в самом деле (я тоже тому свидетель) был построен коммунизм в том понимании, в каком его давала последняя Программа КПСС, третья по её историческому счёту — не рай земной, но полное экономическое изобилие в гармоничном сочетании с высокой культурой труда и досуга, заботой о стариках и детях, настоящей учёбе молодёжи, отменными домами отдыха и пионерскими лагерями, даже с собственным зоопарком — в случае с Герингом и его колхозом-миллионером на Павлодарщине.

Саин называл фамилии этих талантливейших людей, чьи хозяйства не развалились и не сгнули даже в условиях дикого рынка. Но когда он мне это говорил, до капитализма нам было ещё далеко и никто даже в самом кошмарном сне не предвидел навалившихся на всех нас метаморфоз после подлого сговора в Беловежье.

Он называл эти фамилии живых и уже ушедших людей не отчуждённо, а с теплотой, так, словно они ему были тоже дорогие родственники, а потом сказал, так, словно они ему были тоже дорогие родственники, а потом сказал, что **самая заветная мечта** у него быть такими, как они, отдать всё, чем богат душой и в своих умениях, людям своего села — близкого и родного настолько, что как ни кружи по этой жизни, а всё равно неизбежно возвращаешься в него снова — сначала, конечно, в беспокойных мыслях, которые по ночам спешешь передать бумаге, а потом возвращаться, быть может, и наяву.

И в это нельзя было не поверить.

7.

Жарким суматошным летом 1976 года, сулившим Казахстану немалые осенние успехи на хлебной ниве и в экономике в целом (в рабочем дневнике я пометил: вторник, 15 июля), Кунаев сказал: «Пока у нас с тобой идет всё ладно. Поэтому в Москву на писательский съезд езжай. Вот, пожалуйста, глянь — из Большого ЦК бумага. Распорядок вашего съезда. Доклад Георгия Маркова. Выступления на заседаниях проблемных комиссий Михалкова, Симонова, Озерова, Салынского, ещё кого-то... Тут фамилии таких, сто лет я их книг не читал...» Отдал мне пару страниц из большой красной папки, накануне занесённой его Первосоветчиком Хакимом Шакировичем Абдрашитовым (заведующим самым всемогущим отделом ЦК — общим) и сменил благодушный тон на озобоченный:

«Но в четверг у нас бюро по «Аз и Я»... Заварил Олжас кашку-малашку! Что, больше делать нечего? Тут и без него хлопот невпроворот... Но — будем его слушать. Сами тоже поговорим. Спасать надо положение! Ты же в курсе...».

«В курсе», — без особого энтузиазма подтвердил я. Наступление на «Аз и Я» разворачивалось по всем румбам и направлениям. В журнале «Москва» один столичный умник (безусловно, по чёткой наводке со Старой площади — такие устрашающие **бабабы** на делянках в Центре отечественной критики сами по себе ещё никогда не произрастали) уже сблизил концептуальные позиции Олжаса чуть ли не с нацистскими: «Точка, из которой произрастает репей».

Срочно прочищали крупнокалиберные стволы другие солидные издания — популярные и сугубо научные. Главный редактор журнала «Вопросы литературы» принципиально-милейший Виталий Михайлович Озеров, от греха подальше, на всякий случай, сначала тормознул мою обстоятельную статью об «Аз и Я», а потом и вовсе аннулировал (она вышла в «Просторе», за что я был бит неоднократно академическими и неакадемическими оппонентами Сулейменова).

«А Снегин?».

«И Снегин в курсе. Все, кому надо, в курсе. Димаш Ахмедович».

«Олжас тоже знает, что во вторник?».

«Знает».

«Я Имашеву сказал, чтобы Олжасу дали прочитать все материалы. Проект постановления бюро — тоже. Ему и Ануару. Прочитали. Ничего не возразили!.. Лучше у нас пропарить, чем москвичам отдать на съедение... Ты приходи, а то, знаешь, тоскливо будет Олжасу...».

«Зачем отдавать? Надо и его ввести в состав ЦК. Труднее тогда будет москвичам грызть».

“Верно! Верно, святой Владислав! — ухватился за такую мысль Д. А. — Но для остротки поставим на свой ковёр. Послушаем-заслушаем-постановим... Съезд-то в Москве когда открывается?”.

“В бумаге написано — двадцать первого”.

“Да, вот ещё что... — сказал Д. А. — Ты, пожалуйста, не забудь, Алимжанову напомним, чтобы он про Олжасов “Аз и Я” в своём выступлении в Москве — ни сло-ва! Нечего нам авансом каяться. Подгрести на себя всякие там “измы”. Понял?”.

“Вник”.

“Имашев твою статью для “Простора” про “Аз и Я” назвал правильной”.

“Главный редактор журнала “Вопросы литературы” Озеров обещал тоже дать мою публикацию. Всё набрали, а потом раздумали... В Питере тоже есть оппоненты. Скоро два академика на Олжасе и мне ещё и в научном журнале отосыпятся”.

“Есть такие данные?”.

“Есть”.

“Ну не горюй. Важен, сам же говоришь, коэффициент упоминаемости. У тебя пальто украли или ты у кого пальто увёл, потом разберутся. Лишь бы само имя было не в забвении... За битого двух небитых дают, — утешил Кунаев. — А потом ты сам любишь, как англичане говорят... “Не тревожь тревоги, пока она не потревожила тебя”... Больше выдержки!.. А вот Ануару скажи не сейчас, перед бюро, а после бюро. Но лучше всего — в самолёте. Чтобы заранее не растрезвонил... Я помню, как мы Хрущёва свергли, Брежнева поставили — никто ещё толком ничего не знал, а этот ваш Ануар на всех перекрёстках да по секрету: шу-шу-шу!.. Или вот что, скажи-ка ему в Москве, перед самым его выступлением... Не забудешь?”.

“Нет”.

По воздушной дороге в Москву ни Саин Муратбеков, ни Снегин с Лариным, ни я (а мы оказались рядом) про бюро и про “Аз и Я” никаких разговоров не вели. Памятуя совет Кунаева, не стал я тревожить в полёте и Алимжанова.

Слушали Дмитрия Фёдоровича, который и на этот раз оказался прекрасным рассказчиком. И Ларин вспомнил немало любопытных историй.

Я тоже не поотстал. Заговорили о нурпеисовской эпопее “Кровь и пот”. Она того, как любая классика, всегда заслуживает. Явление в общесоветской, а значит, и мировой литературе совершенно неординарное. К тому времени (ещё до службы в ЦК) у меня уже приключилась “кровопролитная” схватка в нескольких письмах со знаменитым ленинградским флотским-скептиком Виктором Конецким. Заслуженный прозаик-мореход публично обвинил Нурпеисова на страницах солидного издания в том, что он, Нурпеисов, подчистую спойл Юрия Казакова в то самое время, когда Казаков напряжённо трудился близ Алма-Аты над русским переводом эпопеи. Неплохо знаю это место и я — бывший дом отдыха № 2 республиканского Совмина — тот самый, где мы с Саином жестоко разыграли безнадским, и с другими литераторами.

С Саином — тоже.

Там же известные хороводы водили с Домбровским. Очень запоминательно иногда было. А иногда — не очень. Когда как.



А с Казаковым встречались и в Союзе писателей на проспекте Коммунистическом (ныне Аблай-хана). Там Казаков проводил великолепные семинары по литературной стилистике. Саин на них присутствовал непременно, а я эти семинары восхвалял от всей души в "Огнях Алатау". Короче, был человек, ясное дело, не только отварную воду, но и работал вовсю.

А вот по Конецкому выходило скандально, однако не очень убедительно. В самом деле, как смог бы Казаков успешно завершить свою работу, каждодневно находясь в бутылочных пристрациях? Это раз. И потом так называемый подстрочник Бельгера, честное слово, ничем не уступал казакскому варианту. Это два. Именно поэтому третью книгу "Крушение" Лили Дени перевела на французский с подстрочника Бельгера, уже никак не опираясь на Казакова. Назвала — "Прах лета". Получилось совсем не худо!

Вот я и отписал, поветовавшись с Саином, Конецкому в Ленинград обо всём как на духу. Мореход не отмолчался, а взъярился. Не на шутку. Прислал угрозу открытым текстом, что немедленно вынесет наш завязавшийся разговор наружу. В самый авторитетный союзный журнал. Что ж; дорогой, выноси, ради Бога! — я тоже не брезгаю полемикой. Таким был смысл моего очередного ответа. Успокоился флотский (мир его праху!) лишь тогда, когда я ему чётко пообещал заявиться в Питер на порог его жилища (адрес известен по справочнику СП СССР) и вполне предметно продолжить диалог.

Словом, говорить было о чём и о ком. Ну а поскольку в те годы каждый, стар и млад, просыпаясь утром, моментально с первыми же информационными сводками Казахского радио и московского "Маяка" до глубокого вечера (а то и нового утра) погружался в события державно-международные, то и в нашем полёте мы о них не забывали.

И вот, по отдельности, но вдосталь пошуршав свежими газетами и журналами, снова сошлись на том, что в Казахстане и Союзе дела вершились немалые.

А иначе, право, и не было. За Казахстан, за СССР и за всё социалистическое содружество перед остальным миром краснеть не приходилось. США по горло завязли в своих заграничных и далеко не бескровных авантюрах, а наша — Афганская — ещё не просматривалась. Про ввод войск стран Варшавского Договора в Чехословакию уже мало кто вспоминал даже на радиостанциях "Свобода" и "Голос Америки". Советские космические программы успешно стартовали одна за другой и — без никаких срывов. Близилась сдача первой очереди Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Атомный ледокол "Ленин" готов был достичь Северного полюса. На Старой площади в ЦК КПСС и в Кремле лучшие правоведы страны корпели над проектом новой Конституции СССР...

Нет, мы по воздушной дороге в Москву не зачитывали друг другу парадных газетных передовиц, а, замяв почти все негативы своего казахстанского и союзного бытия и даже забыв (пусть на время) про них, по-человечески просто и не без гордости радовались за страну, за республику, за себя тоже.

Воздали мы должное грандиозным переменам в необъятных казахстанских небесах и всём поднебесном хозяйстве наших гражданских авиаторов, которыми руководил тогда заслуженный пилот СССР, дважды Герой Социалистического Труда, почётный гражданин города Целинограда (в будущем Астаны) Николай Алексеевич Кузнецов.



Я подтвердил: да, Кузнецова всецело поддерживали Кунаев и министр гражданской авиации СССР Бугаев.

Ларин заметил: Бугаев очень близок к Брежневу и потому стал министром.

Снегин возразил: если бы министром стал другой, Казахстан остался бы ещё долго без больших крыльев.

Муратбеков напомнил: Бугаев, как Брежнев, тоже в прошлом фронтовик, а это влияет на взаимные симпатии, их укрепление и рост.

Я, видимо, к месту поддержал суждение Саина фактом: в бытность личным пилотом Брежнева ещё в 60-х годах Бугаев спас над Северной Африкой громадный самолёт с Леонидом Ильичом на борту от последствий стремительной атаки неизвестных истребителей. Внезапная атака эта вполне могла бы закончиться печально.

Ларин сказал: я сдаюсь, но учтите, что вы все норовите перед начальством по стойке "смирно" вытягиваться.

Снегин невозмутимо подтвердил: когда ради дела, то и это надо: **поклон спины не ломит**. Сказал, что ему было известно, как депутату и как давнему — тут он редкое слово привлёк — **заединщику** Кунаева и Кузнецова: за считанные годы Казахстан обновил весь самолётный парк. Мало кто знает, как это сложно было завести и современные ВПП (взлётно-посадочные полосы), и аэронавигационные системы.

Кузнецов завёл. **Все** (тогда 19) областные центры республики стали принимать лайнеры первого класса, а на свежую стратегическую бетонку в корне обновлённого Алма-Атинского аэропорта (досадно и нелепо, но факт: отменное здание самого аэропорта сторело за ночь на самом пороге XXI века) пожаловал 13 марта 1975 года суперзвуковой "Ту-144" с экипажем во главе с заслуженным лётчиком-испытателем, Героем Советского Союза Эдуардом Вагановичем Еляном.

Ныне простая фамилия Кузнецова во многих авторитетных энциклопедиях мира, а сам он, разменяв уже восьмой десяток лет, может летать, держа штурвал и курс столь же крепко, как и прежде.

Однако перед завершением полёта мы чем-то навлекли неудовольствие Всевышнего или каких-то других его заместительных, но всемогущих сил, решивших испытать и наш экипаж (заодно всех нас) на подходе к Московской зоне вполне на манер Гуссенвиля, где упал на окраину этого французского города "Ту-144" Еляна.

Для меня, в прошлом, пусть небольшого, но всё-таки лётчика, сразу стало всё просто и ясно. У экипажа упорно не ладилось с шасси. Получалось не очень здорово, но я тогда был немного фаталист и согласился. Только стало очень жаль сначала детишек и женщин, а мгновением спустя и своих коллег, самого себя тоже. Чувствовалось, как старался справиться экипаж с этими треклятыми шасси, не желавшими ему подчиняться.

Проклёвывался заведомо проигрышный вариант: посадка на бетонную полосу, как говорят пилоты, на брюхо.

Разумеется, среди наших пассажиров никто не запаниковал, потому что, кроме экипажа, об опасности никто не знал. Ну и, разумеется, кроме земли, которая уже стогнала в аварийные табуны "скорые помощи" и мощные пожарные машины.

Но чтобы при аварийной посадке самолёт не полыхнул от двигателей до хвоста, надо было слить из гигантских баков на землю почти всё



топливо — авиационный керосин, распылить его многие и многие литры и килограммы над облаками и тучами, чьими-то садами, огородами, домами и головами.

Сливая топливо, самолёт большими кругами ходил над Подмосковьем. Внизу, близ Внукова, по-над землёй проносились низкие клочковатые облака. Наш самолёт облётывал московские окрестности почти час сверх всякого расписания.

Никто ничего не подозревал, но разговоры на удобные для всех темы за этот мучительно-непонятный час постепенно улетучились. Почти все сердились, что из-за непогоды расстраивались встречи: от Домодедова до Внукова не ближний свет, а сажали не в Домодедово, где нас давно ожидали встречающие. Лишь Дмитрия Фёдоровича сквало то ли абсолютное спокойствие, то ли некое безразличие.

На четвёртом или пятом круговом подходе к аэропорту Внуково экипаж кинул наш лайнер так резко вниз, что все мы на несколько упоительных-гибельных мгновений убедились реально в том, что же это такое — **невесомость**.

Тут сразу поневоле обозначились и всполошились дюжие сотрудники **сопровождения**. Один остался на своём месте в последнем ряду салона. А другой, хватаясь для устойчивости за спинки кресел, грузно протопал по длинной ковровой дорожке в кабину экипажа. Вернулся на своё место наш сопровождаемый весьма озадаченным, если только не перепуганным: от командира корабля услышал всю правду.

Стюардессы же с осиными талиями, все в тёмно-голубом, неустанно тараторили про перегруженность аэропорта в Домодедово и ещё про что-то такое очень объективное, чему нельзя было поверить. После их уведомлений динамики наполнялись бодрой музыкой, пелись задорные песни и заученно звучал рассказ о достоинствах и красотах столицы нашей великой Родины.

Наконец наш самолёт трянуло ещё раз как следует, даже крылья закрипели внятно и отнюдь не ободряюще. С верхних полок на головы пассажиров опять посыпались подобранные было свёртки, шляпы и портфели. Многие зачертыхались про себя и вслух, так и не поняв, что произошло в этот неприятный момент самое счастливое и самое удачное в нашем незавидном положении — шасси наладились сразу с обеих сторон, вроде бы надёжно закрепились, и теперь пилотам можно было садиться или же с микронной точностью, или же даже небрежно, но в любом случае без опаски сыграть в «ящик» со всеми нами вместе.

Позже я рассказал про всё это Славе Воронину, и он убедительно отвесил мне:

“Старик! Все шансы сгореть у вас были! Но, видимо, среди вас не оказалось особых грешников, потому Господь Бог учёл это в своём компьютере и рассчитал посадку точно”.

В день открытия Шестого съезда писателей СССР (погода после грозного прилёта в Москве установилась идеальная!) прослушали пространнейший доклад творца духоподъёмных писаний о Сибири Георгия Мокеевича Маркова. Все знали, что доклад, от точки до точки, опубликуют газетой, поэтому никто ничего не записывал. Лишь каждый из живых классиков напряжённо поджидал упоминания Марковым о себе и упоительно млея от превеликого счастья, коль таковое упоминание случалось.



Из казахстанских литераторов столь высокой чести удостоились Абдигамил Нурпеисов и Мухамеджан Каратаев. Поэт Сырбай Мауленов под вечер предложил нашим классикам достойно отметить упоминание, что, кажется, и состоялось в ближайшем ресторане.

Безразмерность доклада позволяла занявшим места в зале заседаний Верховного Совета СССР вдосталь насмотреться на съездовский президиум. Справа восседала за широкими пюпитрами из тёмно-морёного дуба московская группа членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС. Вся в полном сборе и в тёмных костюмах. Один Устинов в светлой маршальской форме. Вальяжный крупнолицый **бровенец** Брежнев с гладким зачёсом волос. Молчаливо-сосредоточенный Косыгин. Упитанный Подгорный, не подозревавший, что месяцы и дни пребывания его в должности Председателя Президиума Верховного Совета СССР уже скоростно пошли на убыль. Худющий, как серая египетская мумия, Суслов тем не менее живо о чём-то толковал с круглым и упитанным, как колобок, Кирилленко, давним-предавним угодником Брежнева...

Располагались они не за самым главным столом, а сзади оно — вполне демократично и рядышком, чресло к чреслу. Чуть выше — сонливый Гришин и кучерявистый Долгих, оба по-братски носатые, самый почтенный по возрасту из партийного ареопага — замкнутый прибалт Пельше, про которого нам было известно, что в 30-х годах он политотдельствовал в Казахстане... Ещё выше — тщедушный академик-идеолог Пономарёв со щёткой коротеньких усиков, а с ним тёзка Горбачёва, топорно скроенный Соломенцев, неправдоподобно-опухший всей физиономией, спасённый Брежневым после алма-атинских альковных походов.

Прессу и околотитературный столичный **бомонд** разместили в самом конце зала на высоком балконе, под потолком. Там же были установлены съёмочные кино- и телекамеры, и ни одной внизу. Вездесущим фотокорреспондентам тоже дали укорот, чтобы не шастали в зале от ряда к ряду в поисках писательских тузов, а рассчитывали бы на фойе в десяти-минутные перерывы.

Потом были ещё съездовские дни. Днём и вечером и пяти минут свободных не выпадало. Но ведь были ещё и ночи!

На третьи или четвёртые сутки повывадали всем делегатам и гостям съезда красные спецталоны на посещение т. н. закрытых отсеков ГУМА — Главного универсама. Посетили. Талоны изъяли при входе строгие дядошки. Продавщицы были ангельски любезны. Мы с Лариным облюбовали там по удобному кожаному несессеру с дорожным набором для бритья, а запасливый Саин взял три импортных байковых одеяла, пояснив при этом: "Для дома, для семьи".

"Хорошо ещё, что нет у нас хлебных карточек", — тихо заметил Снегин Саину и мне.

Эта келейная обстановка полутайного распределения дефицитных товаров между инженерами человеческих душ его явно смущала.

Нас, впрочем, тоже.

Но только не Ларина.

"Ишь, какие красивые девицы нашлись! — припадая на протез, иронизировал он над нами, выпагивая от прилавка к прилавку. — ВДНХ да и только! Вот только почему почти ничего из этого в наших, алма-атинских магазинах нет, это надобно спросить у Димаша Ахмедовича... Ну, пожалуйста.



дорогие мои, воля ваша. Откажетесь из высоких принципов от своих талон-нов. Ну так и что? Мы не возьмём дефицит, так торгаши его снова моментально расхватают и по своим сусекам мгновенно распределят..”.

А в перерывах между заседаниями можно было за символическую плату взять на память фотоснимки. Их чудодеями-мастерами было расторопно изложено великое множество. Фотографы разбили зал на условные квадраты и телевизорами аккуратно снимали ряд за рядом. А потом вывешивали на огромных стендах в фойе срочно изготовленные снимки самых удобных форматов. Подходи, разглядывай, узнавай себя, земляков и бери сколько душе угодно. Вот так и увёз я из Москвы несколько любопытных фотографий. На одной из них — мы с Лариным и Муратбековым — воплощение самого внимания. На другой — заснувшие Ровенский с Алимжановым, а у входной двери — припоздавший на пленарное заседание и тем слегка смущённый Снегин.

Всё это здорово смахивало на кулуарный быт партийных съездов, но всё-таки о выполнении и перевыполнении планов, процентах роста и всё́м таком прочем говорилось мало или же совсем не говорилось. Зато какой простор вечерами был даден для исповедных бесед и дружеских уверений в истинном взаимоуважении и братской любви!

Не знаю, правда ли, что колючий кактус цветёт однажды за много лет. Но я видел, как самые утрюмые и нелюдимые из нас мгновенно преобразались в тех людей, какими они могли бы стать навсегда — в милых, приветливых и обходительных, блестящих умом, готовых услужить ближ-нему (и дальнему) не лакейски, а по душе.

Короче, скучать не приходилось. Да и новых знакомств завелось мно-жество. Иные получились на всю жизнь.

О многом переговорили и меж собой.

Не забуду, как разоткровенничался вдруг передо мной Морис Дави-дович Симашко. О том, как ему трудно живётся в Казахстане. Не только морально, но и физически. В Туркмении было легче и лучше. Вспомнил военные годы. Сказал: был военным лётчиком, истребителем.

“Вот ёлки-палки, как получается. Сплошная авиация!” — молча сказал я самому себе. Но своего соседа по дому Симашко не стал пытаться выяснением техники выполнения фигур сложного и высшего пилотажа — как делается в небе каждая из них, какими движениями ручки управления и ножных педа-лей. Показал бы мне это Морис Давидович, — до сих пор почему-то очень сомне-ваюсь. И что такое вдруг накатило на него тогда — тоже до сих пор не пойму.

Неужто опять комиссарская работа Снегина и Саина?

Как бы то ни было, но после московских признаний Мориса Давидо-вича у меня на душе, право, стало как-то легче, и я подумал, что в сущно-сти людям, чтобы понимать друг друга, не так уж и много надо. Главное тут — не играть в прятки с собственной совестью и почаще мысленно ставить себя на место другого.

8.

У новелл и повестей Саина всегда есть мудрые начала и продолже-ния. Они в самой жизни, где он везде и повсюду открывал истинные твор-ческие дарования, никогда не мучаясь, как, увы, превеликое множество его коллег, чувством профессиональной зависти. Наоборот, искренне ра-дуюсь за каждый настоящий успех ближних и дальних.

Подлинный талант нигде, никому и никогда не завидует.

Такой талант всегда способен на поступки неординарные, напрочь отвергающие лжемудрость известного постулата “моя хата с краю”. Когда (а было это в середине 60-х) потребовалось защитить достоинство совершенно незнакомого Саину человека, донельзя униженного и оскорблённого предельно зарвавшимся “иноземцем”, Муратбеков так преподал распоясавшемуся нахалу урок “хорошего тона”, что тому мало не показалось. Вскоре молодого коммуниста взяли в такой оборот, что ему предстояло распрощаться с партийным билетом и навсегда обрести волчий. Однако и тогда в правящей партии были не только одни кретины.

А когда Саин, сам став далеко не последней спицей в колеснице ЦК Компартии Казахстана, разобрался в том, что аппаратная планида — это совсем не для него, то обратился к секретарю ЦК по идеологии Имашеву с мольбой отпустить “в народ”. Но тот, умевший по-настоящему ценить таланты, ни за что не хотел отпускать его. Тогда Саин в сердцах пообещал:

“Саттар Нурмашевич! Отпустите, а иначе сегодня же вечером найду нового иноземца!”.

Имашев понял: найдёт!

И через несколько дней с его экстренной подачи Саин возглавил писательскую газету “Казак адебиети” (“Казахская литература”), которая с его внезапным приходом хуже не стала, а лучше — да.

Многое дали Саину курсы писателей-международников при Литературном институте имени Горького в Москве (1977). А до этого он уже (в 1971 году) оканчивал там Высшие литературные курсы — по чисто творческой программе. Наставники с мировыми именами на своих семинарах внушали своим слушателям:

“Запомните, тот не писатель, кто не добавил людям хотя бы немного зоркости”.

И Саин запомнил. Собственно, это он знал интуитивно и раньше.

А в 1977 году предстояла, так сказать, профильная специализация. На неё от Казахстана мы отправились втроём — Саин Муратбеков, Олжас Сулейменов и я.

Инициатива исходила непосредственно от секретаря правления Союза писателей СССР, главного редактора журнала “Вопросы литературы” Виталия Михайловича Озерова. Не знаю, как сейчас — есть ли курсы писателей-международников в Первопрестольной или нет (скорее всего, нет, чем да), но в ту пору дело с ними было поставлено на самом высочайшем уровне. Толковые лекции нам читали по самым разным дисциплинам выдающиеся спецы своих сфер — учёные, политики, дипломаты, финансисты, социологи, журналисты и т.д.

Немало услышали мы такого, о чём ни в каком учебнике, ни в какой книге не прочитаешь, от асов-международников калибра Генриха Аверьяновича (точнее, Азеровича) Боровика, будущего российского премьера и шефа внешней разведки, а тогда корреспондента газеты “Правда” по Ближнему Востоку, блестящего экономиста и арабиста-египтолога Евгения Максимовича Примакова, от корифеев нашей “ядерной империи”, замаскированных тогда под Министерство среднего машиностроения СССР — человек исключительно геройской биографии, феноменальной эрудиции и самых добрых душевных качеств — Ефим Павлович Славский, не между

прочим, большой и давний друг нашего незабвенного Димаша Ахмедовича Кунаева.

Теперь уж, за давностью лет, можно откровенно сказать: от нас не было практически никаких секретов у руководства самых специфических организаций. К тому же прекрасно дополняли, уточняли, вентилировали и просветляли мощным сквозняком на тот момент наиболее полной правды наши представления о тогдашних милитаристских реалиях и агрессивных устремлениях США, Западной Германии, Японии показанные нам документальные фильмы, которых никогда и никто не демонстрировал ни по телевидению, ни в кинотеатрах и кои едва ли покажут сейчас и в обозримом будущем широкой публике.

Как правило, эти и доньше незабываемые лекции (при каждой встрече с Саином и Олжасом неизменно вспоминаем о них) носили характер живых беседований, а то и остро заточенной полемики. Наставникам нашим было что сказать и рассказать нам. Но и мы тоже, как говорится, щип не лаптем хлебали.

А сколько пользы (говорил сам Саин) дали нам вечерние, а бывало и поздневечерние общения, более того, случались и дружеские ужины, переходившие в товарищеские завтраки с ним и нашими московскими друзьями — Сашей, Александром Петровичем Скрыпником, золотым пером “Комсомольской правды” и “Правды”, в прошлом работавшем в Алма-Ате у Ларина в молодёжной газете “Ленинская смена”, Юрентием Дубинским, тоже экс-ленсменовцем, а потом сотрудником “Вечерней Алма-Аты” (и тоже у Ларина), вымахавшим по стезе журналистики и социологии в доценты МГУ, Борисом Александровичем Александровским из Отдела пропаганды ЦК КПСС.

Позже наша тесная компания пополнилась новыми друзьями, такими же откровенными и чудесными парнями, как старые, где все умели ценить и беречь друг друга, какая бы разница, порой очень существенная, не была бы между нами в возрасте, да и не только в нём.

Бывало — присоединялся к нам удивительного обаяния, многознающий и надёжный друг казахстанской литературы московский писатель Георгий Михайлович Садовников. Главным образом это он переводил Саина на русский язык, как я уже говорил, не авторизируя его прозу, как это, скажем, делал несравненный стилист советской и мировой новеллистики Юрий Павлович Казаков с историко-революционной трилогией Абдижили Каримовича Нурпеисова “Кровь и пот”, а следовал устойчивым обычкновениям переводчика Нурпеисова казахско-немецко-русско-язычного Герольда Карловича Бельгера, полностью сохранявшего особенности казахского оригинала.

И вот тогда-то — и в тесном дружеском кругу, и на занятиях в Литинституте — всю обнаруживались наши литературные симпатии и антипатии, диалогизировать и спорить мы готовы были до бесконечности.

Ну а как с творческой отдачей после столь памятного нашего с Саином и Олжасом учения в Первопрестольной?

Кто-то из наших коллег по этим курсам (фамилии опускаю) чуть ли не с ходу по их завершению весьма преуспел в создании новых саг: баллад, с поэм в прозе и памфлетов, страстно и справедливо обличающих чудовищность тогдашних намерений и происков североамериканского империализма, тихой сапой воскресавшего японского милитаризма или же западногерманского реваншизма. Тогда эти обличения (пусть даже в их

плакатных вариантах), считаю, были очень нужны для формирования общественного мнения.

Кто-то не сразу, но впоследствии использовал обретенный на курсах информационный потенциал явно и подчеркнuto в деструктивном аспекте. Как, скажем, ставший главным редактором "Огонька" Виталий Алексеевич Коротич, приложивший немало стараний для иезуитского подрыва изнутри нашей бывлой сверхдержавы, а потом преспокойненько (и отнюдь не с пустыми карманами) отчаливший за океан.

Кривая логика и ренегатская маятниковость этих интеллектуальных оборотней непостижимы для людей с чистой совестью. Для таких, например, как наш с Олжасом и Саином сокурсник, один из нынешних лидеров таджикской писательской организации Мумин Каноат — прекрасный поэт и апостол активного добродейания.

У Саина оно тоже проявилось в полной мере в целеустремлённой деятельности в качестве вице-президента Международной литературной ассоциации "Евразия".

9.

За годы нашего тесного дружества с Саином где вместе с ним мы только ни перебивали в Казахстане и за его пределами, в какие только переделки ни попадали, и, слава Аллаху, как говорится, в огне не горели и выходили сухими из воды. Ну а уж в самых разных московских и прочих, но непременно высокозначимых торжественных заседаниях и, как правило, непременно следовавших за ними обильных застольях тоже сживали нередко.

Тут уж родные партия и правительство для писателей никогда не скупились, зная, что эта гастрономически-кулинарная забота обязательно окупится сторицей.

Но более всего нам по душе были великолепные сживания в так называемом Дубовом зале ЦДЛ — московского Центрального Дома литераторов на улице Герцена неподалёку от площади Восстания и знаменитого столичного зоопарка. Этот Дом всякий раз дарил нам встречи чудесные и незабываемые.

Но не всегда мы эти встречи выбирали сами.

Наоборот, они нас находили внезапно и молниеносно.

Так было, например, когда к нам за столик, вернее, прямо на столик, за которым мы под крепкое московское бутылочное пиво вели с Саином неспешные беседы, прервав их, будто с неба упал, с громким радостным, на весь зал, воплем бывший казахстанец и пожизненный патриот нашей республики, отсидевший в зонах ГУЛАГа много лет вместе с нашим маститым академиком Мухамеджаном Кожаспаевичем Каратаевым и писателем Андреем Игнатьевичем Алдан-Семёновым, Константин Петрович Алтайский.

Саин тоже хорошо знал всю связанную с Алтайским и Семёновым трагикомическую историю. В приснопамятном 1937 году, в самый разгар ежов-делу о якобы готовящемся покушении на товарища Сталина, где Алтайский будто бы играл заглавную роль. Так кто-то донёс по сильной пьянке.

"Простите, а с кем Вы собирались ехать в Москву? Кто у Вас в сообщениях?" — спросил Алтайского суровый следователь.

Алтайский подумал-подумал и вычислил, что на него никто не мог возвести такой ахинеистой напраслины, кроме давнего его ревнивца по литературному цеху Семёнова.

Поэтому он так и сказал суровому следователю в отместку доносчику: "С Андреем Игнатьевичем Семёновым",

Оба они согласно статье 58-й получили по 20 лет лагерей. На Колыму отправили обоих.

Оба там отбыли почти весь им отвешанный срок.

Оба были реабилитированы подчистую и остались в Москве. С той лишь разницей, что Семёнов украсил свою писательскую фамилию почётно-трагической приставкой Алдан, а вот Алтайский ничем свою фамилию не украсил.

У меня с Алтайским до этой сокрушительной встречи в ЦДЛ было знакомство только заочное да телефонное, но переписка получалась обильная.

При каждом нашем телефонном разговоре и в каждом своём письме Алтайский просил передавать самые жаркие приветы Мухамеджану Кожаспаевичу и всей Алма-Ате.

И вот этот самый Алтайский, взъерошенный, без пиджака, в рубашке без галстука, но зато с закатанными по локоть рукавами, упав от радости, что видит нас с Муратбековым, на наш стол, опрокинул на нём всё, чем стол был заставлен. Затренькали пустые фужеры, полетели на пол белые фарфоровые блюда с голубыми каёмочками и солидные тарелки с основательными закусками. Московское бутылочное пиво разлилось по всей белой скатерти и нашим прекрасно отутюженным брюкам, а ведь нам после сидения в ЦДЛ надо было в обязательном порядке двигать в Большой театр Союза ССР на торжественное заседание, посвящённое памяти Мухтара Омархановича Ауэзова, и не просто в зал, а в президиум этого заседания, где с главным Словом об Ауэзове должен был выступить наш секретарь ЦК по идеологии Саттар Нурмашевич Имашев.

Ну да ничего, всё вроде бы обошлось пристойно и достойно.

Мы даже растерявшегося Алтайского прихватили с собой и сумели втиснуть его в президиум, чему старый ветеран пера, лагеря и пива был рад безмерно.

Единственное, что нас (и не слегка) беспокоило, так это оно, сверх всякой меры выкушанное в ЦДЛ, крепкое бутылочное, подкреплённое давним курсантским правилом: пиво без водки — деньги на ветер. Но понижающий Имашев только лишь один разок срезал нас бритвенно заточенным взглядом, но спустя минуту, уже улыбался широко и радушно, а после своего Слова, отменно произнесённого с высокой трибуны, и горячих аплодисментов переполненного зала, долго и крепко пожимал руку Алтайскому. Чуть позже Алтайский познакомил нас с Александром Александровичем Кроном, автором отменного романа "Бессонница" и повести "Капитан дальнего плавания" — о герое-подводнике Маринеско, потопившем на Балтике два гигантских корабля, полностью набитыми гитлеровским офицерьям и генералами — фюрер обьявил тогда траур, как по краху в Сталинграде. Каково было Крону (его настоящая фамилия Крейн) узнать, что мой школьный учитель, известный казахстанский художник Иван Егорович Квачко служил у Маринеско вестовым...

А сколько мы с Сайном провели в воздухе лётно-пассажирских часов, а ещё больше — на грешной земле в ожидании своих дальних или ближних



рейсов. Вот и однажды, когда самолёт долго не улетал из Алма-Аты и рейс переносился несколько раз, а потом, наконец, обнадёжили твёрдо: "Ровно через два часа", коротать время на (в) аэровокзале нам показалось делом ничкёмным, а коль была такая возможность, то вырвались мы с Саином на Талгарское шоссе, к той памятной для каждого семирэка версте, где слева от асфальтированной дороги высился гранитный памятник верненским революционерам Березовскому и Овчарову. В декабре 1917 года, когда они были злодейски убиты белоказаками, Алма-Ата называлась Верным.

Небо висело над горами низко и грозило снегом. У памятника было одиноко и холодно. Но на заиндевелом граните подножия мемориала лежали увядшие цветы, перевязанные скромной ленточкой, и предгорный ветер теребил осторожными касаниями эту алую ленточку, уже не раз смоченную дождями и снова подсохшую.

Мы представили молча мрачную темень зимней ночи, клацанье винтовочных затворов, сволочную ругань палачей, беспощадную краткость команды, сухой треск залпа. Саин снял шапку, потрогал холодный гранит. Я тоже прикоснулся к отполированному камню.

"Какие были люди!" — сказали мы тихо и одновременно, не сговариваясь.

Из пролетающих мимо огромных и малых автобусов пассажиры смотрели на нас немного удивлённо. Был обычный, не праздничный, будний день, и, возможно, со стороны им, очень занятым и спешащим, было странно видеть каких-то неторопливых людей у памятника.

"Глядишь, и за родственников героев примут нас", — молвил шофёр Женья.

"А мы и есть им родственники, — сказал Саин тихо, убеждённо и естественно, как само собой разумеющееся. — И ты, и я. И они!" — он, не возвысив голоса, кивнул на новый, переполненный людьми автобус, промчавшийся мимо с дизельным выдохом.

Потом стояли мы у колхозного виадука под холодным, но незлым ветром из степи, смотрели на дальние строения, и каждый вспомнил вслух, что более или менее хорошо знает всю эту живописную приалма-атинскую округу по прежней газетной, комсомольской, да мало ли ещё какой работе.

И вот тут-то Саин поведал нам о своей самой заветной, но так, увы, и не исполнившейся мечте, чтобы стать ему главой колхоза, в котором бы все сообща не так уж быстро, но непременно и навсегда прочнее прочного сложили бы жизнь, достойную человека.

Он всеми фибрами своей широкой и честной души питал самые неприязненные чувства к известному нобелианцу Александру Исаевичу Солженицыну, считая его профессиональным прохиндеем, едва ли не самым великим вселенским фальсификатором истории, классическим графоманом и самым наглым фигляром.

Саин искренне недоумевал, почему в СССР тратились тонны бумаги на газетно-журнальные изобличения этого бесподобного политического проходимца и самозванца, но так и не были изданы массовыми тиражами **для широкого круга читателей** две исключительно правдивые книги о нём — его экс-супруги Натальи Алексеевны Решетовской "В споре со вреженицына" и его самого близкого сотрудника Ржезача "Спираль измены Солженицына". Обе эти книги впервые увидели свет в Италии в 1978 году.

Их тиражи разошлись там мгновенно.

В 1978 году специальная редакция московского издательства “Прогресс” изладила штучный тираж этих книг без указания в выходных данных количества отпечатанных экземпляров, предназначенных только для партийной верхушки, прежде всего для членов Политбюро ЦК КПСС.

Я получил обе эти книги от Кунаева, а Саин — от меня.

В народ они так и не пошли: “пятая колонна”, всюю работавшая на позитивный имидж презренного хриstopродавца и тайного стукача, тихой сапой сделала всё для того, чтобы эти книги в СССР не были изданы массовым тиражом, и за Солженицыным сохранился трагический ореол мученика и лагерного страдальца, каким он никогда не был. Он был стукачом-доносчиком. Как никогда не был он в войну **боевым** артиллерийским офицером, за кого он выдавал себя бесконечно. Служа в **звуковой разведке**, он всегда был вдали от передовой, **ни разу не участвовал в боях**. Но чтобы физически уцелеть, ради спасения своей шкуры он стал под самый конец войны в своих письмах отчаянно облаивать советский строй и политику Сталина. Письма читала военная цензура, их автора взяли за одно место, судили и отправили с фронта на тыловые работы, чего и добивался хитрованец. Для него это было в лобом случае лучше, чем случайная пуля в лоб или ещё куда. А Победу, решил этот ушлый трус, пусть своей кровью, своими смертями добывают другие, но лишь бы только не он сам.

И Решетовская, и Ржезач в своих правдивых книгах с великим множеством неоспоримых фактов в руках показывают истинную личину и нравственную ничтожность профессионального лжеца Солженицына.

Пока я не буду дальше развивать эту, возможно, очень спорную тему, но скажу, что здесь я тоже был и остаюсь с Саином полностью согласен.

10.

Крепкое тамырство-дружество с Саином, замечательным (от Бога!) литератором и неординарным человеком считаю большим для себя счастьем. И не только потому, что мне досконально открылся широкий и почитательный мир его героев (антигероев тоже).

Это само собой. Но Саин (опять же, как трудно говорить о нём в прошедшем времени!) мне дорог ещё и как настоящий единомышленник. А, как известно, и это тоже доказывается действием.

Вот только факт, один из многих — приоткрою давний секрет. В бытность директором республиканского издательства “Жазушы” (“Писатель”) Саин, опять рискуя партбилетом и головой, с 25 мая 1984 года по 29 мая 1986 года держал в потаённом месте весь набор “арестованной” второй книги моего запрещённого Центром романа “Вернуться и ничего не забыть”, окончательно признанного там (батьюшки-светы!) **“антипартийным”** и **“антисоветским”**.

Сколько ни грозил тяжкими карами и ни приказывал Саину тогдашний секретарь ЦК по идеологии, он же и генерал КГБ (Камалиденов) немедленно уничтожить этот набор, отдав его в переплавку (а это многие килограммы свинца, точнее, гарта), Саин тут же перепрятывал набор в новом укромном местечке. Но стукачи вскоре опять доносили “по инстанции”. И так вот длилась эта “эпопея” целых два (!) года подряд. Беспрецедентный в СССР слу-чай. Наконец, улучив момент, сам выпустил мою “криминальную” книгу в свет. То-то с шумом и грохотом разверзлись партнебеса. Генерал топал ногами и орал в адрес Саина: “Преступник!”. Да только вот дело было сделано...

Что и говорить, родная семиреченская земля, её честные люди и суровая школа жизни не обделили Саина ни мужеством, ни крупным талантом, ни твёрдой верой в высокое предназначение человека. Его книги (все до единой) не залеживаются на библиотечных полках.

И не только там. Их по-прежнему повсюду читают стар и млад. Потому как они в простоте и доступности речестроя (тут честь и хвала его лучшим толмачам) всегда привлекательно-магнетичны своим искренним оптимизмом, волшебным настроем на необратимое одоление местечковости и вселенского зла во всех его ипостасях.

В разные годы с выходом каждой новой книги Саин непременно вручал мне её экземпляр с прочувствованным автографом. Осенью 1980 года на одной из них ("У тёплого родника") написал:

"Дорогому Владиславу Васильевичу с чувством глубокой признательности и благодарности за тёплые слова о моём скромном творчестве. Саин Муратбеков. 23 октября 1980 года".

На титуле другой своей книги Саин написал — летом 1987 года, когда меня вовсю трепала костоломная артель временщика Колбина:

"Слава! На радость добрым людям работай и живи — долго!".

Закопёрщиком "политической оценки" "делу Владимирову" по резолюции самого (честь-то для меня какая!) Гурбачёва рьяно выступал патентованный партинквизитор из ЦК КПСС тов. Сеничкин, известный расправой над крупным советским историком Некричем за его якобы клеветническую книгу "1941. 22 июня".

"Значит, ты у нас вроде как Солженицын? А я что-то и не замечал. Но, пожалуй, не будем гусей дразнить. Ступай опять в Верховный Совет. Годок-другой там, а потом обратно придёшь. Не пропадёшь", — утешительно и в рифму напутствовал меня Димаш Ахмедович после наезда эмиссаров из ЦК КПСС к осени 1984 года.

Тогда я уже без малого 15 лет был у Д. А. в помощниках.

Я попросил его не ставить меня в один ряд с дерьмом, даже если оно и нобелианское. Он согласился, был ещё в силе и не позволил свершиться персональной расправе. Представители Центра вернулись в Москву. А дома с их подачи мне вкатили "просто" партийный выговор.

Однако мои новые отечественные и зарубежные публикации подбросили сухого хворосту в костёр, и к весне 1987 года, когда после известных декабрьских событий 1986 года нашего Первого последний генсек и его прихвостни взяли в оборот, партийное гестапо не забыло про меня и мои литературные экзерсисы. Поводы для костоломного аутодафе выкатили другие (и совершенно дурацкие), а в обмен на сохранность партбилета чётко предлагали одно — оклеветать свергнутого Кунаева и его ближайшее окружение.

Разумеется, в ответ был мой кукиш и отнюдь не в кармане.

С КПСС пришлось распрощаться и взамен партийного билета обрести волчий. Это сейчас смешно вспоминать. А тогда было не до смеха. Колбин настаивал на моём исключении из Союза писателей СССР. Алимжанов тоже ходил с выкриками типа: "Пора дать политическую оценку делу Владимирову!". Тогдашний глава писательского Союза Казахстана Олжас Омарович Сулейменов вместе с Саином Муратбековым и Леонидом Даниловичем Кривощёковым спокойно давал всем посланцам Колбина, Камалиденова, Устинова от ворот поворот:



“Ступайте отсюда с Богом. Никого из своего Союза мы исключать не будем. Владимирова — тем более”.

По запросу из ЦК КПСС написали и отправили в Москву на меня такую характеристику, что я по ней должен был немедленно получить ещё один самый высокий орден.

Но травля тем не менее ещё долго продолжалась. Словом, бесценной эмпирики на продолжение цикла опять поднабиралось немало и было бы грешно хоронить её втуне.

С обретением Казахстаном настоящего, а не декларируемого суверенитета, даже ещё раньше, с приходом к руководству республикой Нурсултана Абишевича Назарбаева, и для меня всё постепенно, как говорится, вернулось на круги своя.

И мой верный друг Саин всегда тому способствовал, как мог.

Вместе со множеством других моих и его надёжных единомышленников.

И вот теперь, уже на склоне своих земных лет, не представляю я прожитой жизни своей без Саина, без тех замечательных людей, кого мы вместе с ним всегда уважали и любили, с кем нас сводила лично наша, несмотря ни на какие суровые передраги, всё-таки очень счастливая судьба.*

Без превеликого множества наших прекрасных старших и младших современников и современниц, без чьей созидательной ауры XX век попросту немислим и от кого он неотделим, даже если, увы, не всем из них довелось счастливо перешагнуть за порог наступившего Третьего тысячелетия.

Словом, такое никогда не забывается.

Последние годы Саин, особенно после внезапной кончины любимой дочери, тяжело болел. Мне его состояние очень близко и понятно. Я и сам потерял свою родную дочь, 28-ми лет, красавицу и великую умницу, отлично знавшую все европейские языки и уже отменно работавшую на Казахстан во Франции, Испании, Португалии. Но злой рок не спрашивает наших позволений на свои чёрные дела.

Так и у Саина с безвозвратным уходом его дочери и с его инсультом, а также с другими серьёзными недугами, неизбежно обретаемыми, когда человек работает на износ и жжёт свечу своей жизни с обеих концов.

И если бы не жена его, невероятно преданная и заботливая Марьям, сама медицинский работник, то страдания Саина удесятились бы. Но Марьям встала поперёк неизлечимых болезней и сотворила настоящее чудо. В одно из наших, как самым печальным образом оказалось, прощальных свиданий с Саином он даже нашёл в себе силы, чтобы показать мне и самой верной спутнице моего земного бытия Прете Георгиевне свою загородную обитель со всеми её красотами, с новыми саженцами на крохотном приусадебном участке, но, прежде всего остального, богатой библиотекой, которой он очень гордился, поскольку всю свою многотрудную жизнь считал, что главное для писателя заниматься не трёпом, а граждански ответственными делами.

С удовольствием пополнил он её и привезёнными мною дарами — мои же сравнительно новыми книгами. Не скрыл я от него: одна из них вышла после моего письма к Президенту — “Не надо грустить, господа офицеры...”

* Далее В. Владимиров называет 220 фамилий дорогих его сердцу людей. Этот список, занимающий несколько страниц, в целях экономии журнальной площади пришлось опустить, за что редакция приносит автору свои извинения.

Из прошлого — близкого и далёкого”, историческая ретроспектива из нескольких повестей о том, о чём раньше не писалось или писалось криво. Другая — “Дмитрий Снегин. Его Любовь, Память и Слово” была внесена в список социально-важной литературы Министерства культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан и тоже обладала собственной примечательной историей.

Поздравил меня Саин от души. А потом сказал, что слышал недавно, как один из наших коллег помоложе горестно сетовал на то, что у нас нынче подрастает целое поколение, которое почти совсем не читает книг, а если и читает, то всякую развратную белиберду, и оно, это поколение, вполне может стать серьёзной угрозой для государства.

“Всё так. Джигит прав. Может стать. Ещё и как может!.. Однако что же это за такое государство, которое не думает об этих серьёзностях или думает о них промельком? Не кажется ли тебе, что нынче наш брат писатель, сестра тоже, похожи на людей, которые клячат подаяние? Сравни, чем занимался наш Союз писателей прежде и чем он занимается сегодня... Юбилеями да похоронами!.. А что, разве не так?.. Ну и плюс приёмом в свои ряды новых так называемых членов... А толку-то?.. Разве это правильно?.. Вот и я тоже хочу написать обо всём нашему Нуреке. Думаю, он поймёт...”

В тот день и вечер допоздна мы опять памятно и горячо переговори-ли о многом и снова мне, как в теперь уже безвозвратной, далёкой молодости, показалось, что наша жизнь всё ещё юна и в запасе у нас вечность.

И вот теперь мне грустно, невыносимо осознавать, и не только мне одному, что с нескончаемо дождливой весны 2007 года нет среди нас великого Саина. Когда я писал вот это своё, считаю, предельно правдивое, но далеко не всё охватывающее, Слово о нём, то не раз и не два горькие слёзы наворачивались на глаза и перехватывало дыхание. А ведь совсем незадолго до его последнего ухода, откуда никому нет возврата, и в который мне никогда-никогда не поверится, мы все с самой глубокой душевной к нему признательностью отмечали славное 70-летие Саина.

И я тогда заметил в статьях о нём, напечатанных в “Огнях Алатау” и “Казахстанской правде” (14 октября и 24 ноября 2006 года), что, видимо, даже в этот славный юбилей не следует лукаво уверять, что это всего лишь два раза по 35. 70 есть 70. Однако для писателя крупного таланта и активной жизненной позиции возраст — понятие условное. Ибо душа его всегда молода, а книги, смело можно сказать, вечны.

Я и сейчас на том стою неотступно.

И не только я один, а все, для кого имя и книги Саина — понятия не отвлечённые. И теперь они, эти его прекрасные книги, уже навсегда в духовной сокровищнице нашего многонационального, но всегда единого народа суверенного Казахстана и всех его подлинных друзей окрест и далече.

Именно это и даёт нам полное право на желанные новые встречи с его нетленными творениями. Каких бы жанров они ни были, свет и тепло его чистой любви к честным и **живым** людям созидательного труда ещё обогреют многие сердца и души.

Очень надеюсь на это.